

номию, но он вышел свободным, он вышел степным волком, часто оскалом зубов отвечающим на всякую обиду, готовым во всякий момент защищаться.

Великолепие этого вольного бродяги, сбросившего цепи мещанской морали, чувствовали и сами мещане. Горький сам изобразил это, поставив рядом интеллигентного присяжного поверенного, который слякливо раскисает в минуты раскаяния, когда его гложет сознание того, в какое домашнее животное превратился он, человек, и каким бы он мог быть, и цельный тип босяка загорелого, грязного, бесовестного, но бесконечно свободного и смотрящего с презрением на дом, жену, ордена и т. п. „блага“. Очень многие потянулись к живому облику горьковского босяка потому, что говорят, что в сердце каждой домашней утки лежит отголосок того, когда она была дикой, и уверяют, —я этого сам не видел,— что когда дикие утки летят по поднебесью, то домашняя утка приходит в волнение. И таких диких уток Горький показал одомашненным уткам. Но Горький был слишком могучей, слишком крупной фигурой для того, чтобы не преодолеть босяка. Он был реалист, он не был похож на того Чижика, который хотел обмануть птиц разными розовыми словами. Он не был „Лукою“. Он сам объяснил актерам и критикам, которые пришли в восхищение от Луки, — „это святой человек“, Распутин для народа!, — что это хитрый человек, который каждому дает пластырь на его рану, чтобы отделаться от него. Горький совсем не такой „утешитель“, хотя, может быть,